

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ.....	3
БЕЗ ПОСЛЕДНЕГО	200
ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ	215
МНОЮ РОЖДЕННЫЙ	286
ИЗ ТИХОГО СВЕТА.....	317

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Глава первая

Леонид Сошнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус — пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать.

Собственно, издательства, как такового, в городе Вейске не было, от него осталось отделение, само же издательство перевели в город более крупный, и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но «база» была такой же точно, как в Вейске, — дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконцев по низу и фасонно изогнутыми по верху, тоже узкими, но уже вознесенными

ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало или работал, закопанный в под-земелье, взрывной механизм замедленного действия.

Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах, со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалось, елозило на стуле, хваталось за телефон, сорило пеплом местное культурное светило — Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком: если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда, в газетах же, и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Эренбурга, Юрия Олеши, Трегуба и Ермилова, впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходила.

Все уже давно с книгой Сошниина решено. Рассказы из нее напечатаны пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях, он пять лет простоял «в затылок», попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу.

Назначив время делового свидания ровно в десять, Сыроквасова явилась в отделение издательства к двенадцати. Опахнув Сошниина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору — лампочки кто-то «увел», хрипло бросила: «Извините!» — и долго хрустела ключом в неисправном замке, вполголоса ругаясь.

Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плита пустила в коридор щель серого, унылого света — на улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход — в декабре-то!

Тупо и непрерывно ныла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, долила усталость, тянуло в сон — ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая это болезнь — графоманство», — усмехнулся Сошнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену.

— Галя! — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. — Позови ко мне этого гения!

Галя — машинистка, бухгалтер да еще и секретарша. Сошнин осмотрелся: в коридоре больше никого не было, гений, стало быть, он.

— Эй! Где ты тут? — ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди. Зовут.

Сошнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам — маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина, вот и приучился оглаживаться. «Спокойно! Спокойно!» — приказал себе Сошнин и, воспитанно кашлянув, спросил:

— Можно к вам? — Наметанным взглядом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил: старинная точеная этажерка в углу; надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой, на струганом, но некрашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах.

— Раздевайтесь, — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там ве-

шалок нет, вбиты гвозди. Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И когда Сошнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола.

Сошнин едва узнал папку со своей рукописью — сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором опять же бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела, кто-то пролил на папку чай. Если чай? Вундеркинды Сыроквасовой — у нее трое сыновей от разных творческих производителей — нарисовали на папке голубя мира, танк со звездой и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал, название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером: «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это, и нес он в издательство папку с чувством неизведанного еще обновления в сердце и жажду жить, творить, быть полезным людям — так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из «оттуда».

Беленькая наклейка сделалась за пять лет серенькой, кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здеш-

ними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сыроквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в его творчестве в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвытрезвителе. Сошнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что, это усвоил. Накрепко. На всегда.

— Ну-с, значит, дороже всего жизнь, — скривила губы Сыроквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности: — Дороже всего... дороже всего...

— Я так думал пять лет назад.

— Что вы сказали? — подняла голову Сыроквасова, и Сошнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же сохлой краской подведенные ресницы и брови — мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувывлезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду — этакую современную бабью спецовку: черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить.

— Я думал так пять лет назад, Октябрина Перфильевна.

— А сейчас так не думаете? — Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных отбросах. — Разочаровались в жизни?

— Еще не совсем.

— Вот как! Интересно-интересно! Похвально-похвально! Не совсем, значит?..

«Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с нею вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? Очень любопытно!» — Сошнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.

— Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в Божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не стряется, если не сократят план и тэ-дэ и тэ-пэ. Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами, на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печатаетесь, хотя и не часто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — ми-ли-цейс-кая!

— Человеческая, Октябрина Перфильевна.

— Что вы сказали? Ваше право так думать. А если откровенно — до человеческих, тем более общечеловеческих проблем вам еще ой как далеко! Как говорил Гете: «Уннерайхбар ви дер химмель» — «Высоко и недоступно, как небо».

Что-то не встречал Сошнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сырокуасова в суетности жизни спутала Гете с кем-то или неточно его процитировала.

— Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказы — мякина, мякина с обмолоченного зерна. — Понесло Сыроквасову в теорию литературы. — А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за семью печатями. Есть еще форма, вечно обновляющаяся, подвижная форма...

— Что такое форма — я знаю.

— Что вы сказали? — очнулась Сыроквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красовались рисунки ее гениальных детей, мятая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды преставившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени.

— Я сказал, что знаю форму. Носил ее.

— Я не милицейскую форму имела в виду.

— Не понял вашей тонкости. Извините. — Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство. — Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.

— Да-да, позволяйте, — чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон. — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу шестьдесят процентов. Но с деньгами у нас, как всегда, плохо.

— Спасибо. Я получаю пенсию. Мне хватает.